

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ



РУССКИЕ

РАССКАЗ

Василий Семенович, лежа на диване и свесив ногу, стучит по полу пяткой в двух, что знает Ольга Васильевна, случаях: или когда пропадает звук в телевизоре — чтоб тряхнуть его, или когда показывают вожака “левых сил” — чтобы жена, если руки не заняты, пришла с кухни тоже послушать и посмотреть.

Нынче, в самом деле, чуть не все на свете стало такое “новое”, что даже газету они выносят читать только одну, да и ее, с таким-то вот названием, наказывают дочери брать для них в киосках, и та, когда не забывает купить, привозит по выходным, если сама еще соберется, из города... Все до единого номера этой газеты они согласованно складывают в одном месте на комоде в растущую пачку, и когда захочется что-нибудь почитать, вытаскивают из той пачки или из верха ее, или из низа, все равно — лишь бы потом вложить точно и не путать порядок номеров. Не берут, конечно, с комода ни где постелить на мокрое, ни что завернуть; для такого обихода выписана газета местная, дешевая самая (в которой, кстати, есть и телепрограмма).

Когда же на экране появляется кто-то из нынешнего главного руководства, и само собой и прежде всего — президент, они, до того молчавшие, вдруг начинают, ни кому не обращаясь, громко говорить — лишь бы что-то вслух и громко говорить, несмотря ни на какое свое здоровье и состояние...

КУЗНЕЦОВ Евгений Владимирович родился в 1953 году в деревне Костино Рыбинского района Ярославской области. Работал на заводе, служил в армии. Окончил Ярославский государственный университет, факультет истории и права, отделение правоведения. Работал следователем в милиции. Автор книг “Молчаливая история”, “Чернила в бокале” и других. Член Союза писателей России. Живет в Ярославле.

Ольга Васильевна часто даже встает в сердцах и уходит на кухню:

— Глаза бы не смотрели!

Василий Семенович в таких случаях шевелится, для солидарности, на диване:

— Ну чего заявился?!..

Но куда же без телевизора, пусть и этого полусломанного, даже в полдневную жару денешься: в комнате хоть не печет, а двери, чтоб дом дышал, открыты настежь и с крыльца на улицу, и из коридора, с занавеской от мух, на крыльце.

Поминают они так же громко президента и, если кто зайдет, при соседях; тех это просто веселит: про задержки с пенсиями, с зарплатами, про митинги и забастовки и так все знают, а им, “учителям”, бывшим воспитателям здешнего детского дома, не только грубо, но и вовсе бы ругать руководство не к лицу.

И было, в среду или в четверг, время обычное теленовостей и время как раз обед собирать...

Вдруг — вдруг словно весь яркий летний день влетел в дом: нарядная... шикарная, в легком июльском платье, женщина... дама, в огромной светлой шляпе, влилась в комнату и, покрыв половину пола целой лужайкой цветастого подола, присела перед диваном на корточки!..

— Василий Семенович!.. Василий Семенович...

Василий Семенович лишь вытаращил, сам чувствуя это, глаза в очках... Вспомнил вмиг, что, и правда, не заперто... что жена на кухне... вспомнил, что, и правда, секунду назад какое-то скорое и легкое цоканье слышалось в прихожей...

А она, пышная, радужная, — она перед ним просто сидела, плакала и смеялась...

Ни с каким звуком не сравним был тот легкий и четкий приближающийся пульс через прихожую, ни с каким запахом не сравним был теперь этот аромат чего-то и близкого, и как бы неведомого...

Василий Семенович наконец медленно поджал свешенную ногу в рваном носке сколько можно под диван.

Вторую его ногу, которую он стал мечтать подтянуть под себя, сжимали белые ручки в кольцах, в перстнях, в браслетах...

— Не узнаете?!.. Не узнаете...

Василий Семенович, догадавшись чуть осмелеть, церемонно сцепил руки пальцами на груди: давно же у них не бывало бывших воспитанников...

— Я — Полякова...

На ее фамилию, такую вроде бы знакомую и вместе с тем такую новую, тоже легкую, как и ее шаги, летнюю, пахнущую в дом и тот аромат духов, и какую-то свободу, радость, и ценность чего-то чужого, подалась из кухни к комнате и Ольга Васильевна. Увидела она еще через дверь гостью — и прежде всего застыдилась, что из-за солнца, мешавшего днем смотреть телевизор, на окнах закрыты занавески...

— Полякова я... Полина... Ольга Васильевна!.. Вспомнили?..

Она встала, такая... такая роскошная...

Василий Семенович и Ольга Васильевна одновременно прокашлялись... Василий Семенович стал, в конце концов, подыматься, а Ольга Васильевна вошла, сцепив пальцы на животе, в комнату.

Легкая яркая женщина, чуть полная, с глазами красивыми карими, с пышными волосами каштановыми, в платье легком тонком, свободные рукава которого то и дело падали к плечам, оголяя все целиком белые гладкие руки без загара, едва она трогала свою огромную соломенную шляпу с яркой лентой от тульи и бантом на белом подбородке, с цепочкой на белой шее... И какая-то праздничная чужая неожиданность таилась во всей в ней — будто вот-вот, едва она вскинет опять руки, вместе с рукавами соскользнет с нее и все платье...

Полякова, как же... Сопливая, с раздутыми красными ноздрями... Сутулая, скованная, иногда дерзкая... “Троешница”, однако крепкая... В типовой, что ей мала и что еще больше ее сутулит, делая словно бы без шеи,

форме... С наскоро обтяганными, чем короче — тем лучше, волосами... Даже такая карточка ее была, где она, в очередь, сфотографирована под лозунгом “Счастье в труде”...

Она сейчас тут не осматривалась, не спрашивала, не рассказывала — будто все обо всем знала и одним своим радостным видом как бы призывала вмиг узнать о ней все. Только не сводила глаз с Василия Семеновича и Ольги Васильевны.

— Пойдемте же на улицу!

И сама пошла скорее первая, оглядываясь, зовя улыбкой.

На лавочке у дома, на самом солнце, Василий Семенович и Ольга Васильевна сидели рядом, что редко бывало, и прямо, словно только что приехали откуда-то куда-то, и глядели на нее из-под руки... И стеснялись... стыдились назвать ее по имени, будто боялись его с ходу верно выговорить... Раньше ведь, в детском доме, — всех только по фамилии и громко:

— А Поля-кова где?!..

Она же стояла перед ними посреди двора спиной к солнцу и была, в своем платье, которое сильно просвечивало в рукавах и в подоле, частью этого оранжевого, голубого, зеленого, словно только что сюда откуда-то упавшего лучезарного дня.

И опять — только смотрела прямо и весело на них.

Василий Семенович и Ольга Васильевна, чувствуя это друг за друга, вдруг устали...

Ольга Васильевна, всегда в таких случаях знавшая лучше мужа, как себя вести, все переворачивала, как бы озабоченно, руку над глазами ладошкой то вверх, то вниз и спрашивала недомашним голоском:

— Ну хоть как?.. Что?.. Где работаешь?..

А она — она просто махнула улыбкой в сторону шоссе.

И она — улетела.

Василий Семенович и Ольга Васильевна, ничего не говоря, чуть покачиваясь от усталости, пошлелись к дому...

Василий Семенович дерзнул снять с себя шляпу только у крыльца.

Телевизор в полумраке все так же звучал... Василий Семенович, не чувствуя на этот раз своей вины в том, что телевизор оставлен был без присмотра, выключил его...

В комнате после гостей стало как-то пусто, пожалуй, действительно сумрачно, на все смотрелось какими-то новыми глазами... Думалось виновато: вдруг бы тут воспитанница стала осматриваться, когда вошла... Что же у них тут главное... Ну не телевизор, конечно...

Василий Семенович, не глянув ни на часы, ни в программу, пошел на кухню к Ольге Васильевне.

Оказалось, давно бы пора отобедать.

В зале у них, в передней, на самом видном месте, между окон лицевых, висит на золотой плетеной веревочке вымпел, каких нынче не так просто и найти: альпий, с кистями золотыми по краям, с вышитыми по нему золотыми словами славы, которых не видно, так как на вымпеле тесно приколоты целая гирлянда медалей... боевых, трудовых...

Висит этот вымпел с горстью медалей давно... И не раз случалось, что кто-нибудь, не часто у них бывая, не видя той надписи о славе, интересовался, где они такую удобную тряпицу нашли для медалей...

Еще давнее, раньше, когда-то, до телевизоров еще, писал Василий Семенович картины маслом, украшая свой дом таким редким убранством... С кухни другая картина давно вынесена на чердак. А про эту в передней, под длинным вымпелом, как-то забылось... Даже и сами хозяева не обращают внимания на чуть видные под вымпелом босые девочкины ноги... Скорее кто чужой вдруг, увидев эти ножки в траве на бревнышке, что ли, начнет от нечего делать гадать, что это за картина — скопированная когда-то Василием Семеновичем с почтовой открытки, как он помнит, с названием “Бегущие от грозы”...

Ценность сегодняшнюю, шляпу, шляпу этакую, убрали на шифоньер — подарить, как придет, дочери.

Вечером, светлым еще, теплым, душным — таким нынче немногословным, грустным, тоже непонятным, — когда Василий Семенович, впрочем, досматривал новости, Ольга Васильевна, как и обычно для этого часа, стала в спальне ложиться...

Только тут они увидели против своего дома автомашину, огромную, овальную, серую, на вид легкую... Окна в машине были словно бы изнутри закопченные, за ними ведь, наверно, кто-то был... И стало им опять вдруг и странно, и жутко — так же, как было в первый миг в комнате: она, в своем этом платье, в своей этой шляпе, к которым они уже чуть попривыкли, и эта приземистая машина неведомой марки, пожалуй, и в самом деле — одно и то же...

Она же, все улыбаясь и улыбаясь, сказала только об одном — и притом как о событии, которое и без всяких слов на уме у всех и каждого: да хочет, мол, мужу показать, где прошло ее детство.

И стояла вольно, нетерпеливо, подымаясь на носки — будто ждала сию минуту музыку, чтобы затанцевать... Даже присесть на скамейку рядом пригласить ее было странно, неуместно... Вопросы короткие корявые она словно бы не слышала, а сама, сквозь улыбку, мягко и отрывисто проговаривала. Толком ничего узнать было нельзя: не работает, вообще не работает, квартира есть, но есть и дом, и дом тоже свой, дети есть, но не все от одного мужа...

Машина серая, непрозрачная, не шевелясь, послушно и твердо, что-то свое зная, ждала ее.

А она уже шла к ней, сначала пятясь, потом оглядываясь, все улыбаясь... И, улыбаясь, исчезла в ней...

Машина, словно пухлый дымчатый диван, неслышно поползла в сторону... Но скрылась с глаз быстро.

Василий Семенович и Ольга Васильевна стали, путаясь, припоминать: она ведь вроде бы сказала, что из детдома еще заедет к ним... Они, когда она пошла, встали было провожать, но теперь, вдруг забыв об этом и обо всем, снова сели — сели отдохнуть... И — не знали, что говорить... Самое странное, что, по их подсчетам, ей, гостье такой, выходило немало лет, а между тем и не думалось ни сразу, глядя на нее, ни теперь ни о каких годах... Странно было, что та девочка неказистая, нестройная, которую они воспитывали, одевали, кормили, мыли, чем-то связана... с этой полнеющей раскованной, все, судя по ее глазам, понимающей женщиной...

И какая она, говорили они сами себе и друг другу самым молчанием своим, ласковая, добрая... И... счастливая... Счастливая — да и все!

Они виновато, полупамятками, стали прежде всего говорить, что она, будь на них хоть чуть за что-то обижена, никогда бы не зашла, вообще, может, не приехала... Что ей, в детдоме, было еще ничего, хорошо даже; не то что им, в их довоенном детстве, когда, как говорится, они не выдывали ничего слаще морковки, — недаром даже теперь Василий Семенович не может, и без всякого стыда, без конфеты глотка чаю выпить... Ну, а она, стало быть, не выдывала, в детдомовские годы, ничего слаще конфетки, так что пусть, додумывали по-родительски, живет теперь, как хочет...

Хватились было, что ведь, если заедет, придется, может, приглашать в дом, угощать ее и того, кто в машине, — но тут же согласно поняли, что — почему-то — не будет этого... Опять же вспомнились те годы, те, вернее, времена: нет, они не были с детьми чересчур строги; не то что какой местный гражданин, тоже грамотный, который (впрочем, может, и не зря) упрекал, остановившись на дороге, “детдомовцев”, идущих из школы, в том, что они, играя, валяются в канаве, а на них ведь “государственное имущество” — отчего дети, как бы прислушиваясь к чему-то, вдруг, среди игры, замирали серьезно, скованно: ясно ведь, что эту форму свою, пусть даже новенькую и ладную, охотно бы сменяли сию же минуту на рваный пиджак огромный — был бы он только с отеческого плеча...

...Скоро, даже неожиданно скоро, она вернулась. Вышла из той же своей машины, пошла опять к ним, все подымая голые руки к шляпе. Из машины с темными окнами опять никто не вышел, но теперь дверца была открытой...

Василий Семенович и Ольга Васильевна не остались у лавочки, а, повинаясь какой-то команде, пошли навстречу ей.

Она, после поездки, была так же радостна, но, казалось, с румянцем некой стыдливости...

Заговорила снова сама по себе — не ожидая, не слыша вопросов:

— Все там изменилось!.. Везде иконы...

Так что им, двоим, хотя они ни разу не бывали, как вышли на пенсию, в своем детдоме, было, охотно покивав, на чем с нею наконец-то сойтись.

Она все улыбалась им, словно, теперь было это ясно, детям или словно больным... Сейчас же, когда, чуть постояв, все они вдруг поняли, что все уже сказано, уже сделано, смотрела в глаза им пристально... На миг все трое замерли... Плавно и боязливо она поцеловала обоих в щеку... И, теперь уж не оглядываясь, пошла было к машине, но вдруг остановилась, повернулась, дернула за бант, сняла с себя, как цвет с клумбы, свою большую шляпу, подбежала и надела ее на седую голову Василию Семеновичу...

Василий Семенович даже закашлялся смело...

Потом — потом, когда было уже темно, она для чего-то оказалась на кухне, а свет был включен только в прихожей... И уже слышно было, что и муж, услышав, наверно, как к ним стучатся, или еще как, тоже поднялся и одетый стоял в прихожей... Но вдруг из коридора в прихожую вошел... Президент!.. Да... Президент страны... Да, он... Седой, рослый... По-летнему в костюме... Вошел Президент, стесняясь, боясь, как заходят впервые в их тесную прихожую, что-нибудь задеть... Да и не один, а с Супругой!.. И оба они, скромно улыбаясь и сцепив пальцами опущенные руки, стояли у порога... Василий Семенович, вобрав голову в плечи и выставив подбородок, словно при проверяющих электросчетчики, стоял там, в прихожей, перед ними... И уже что-то неторопливо то ли отвечал, то ли спрашивал... Ой, Ольга Васильевна, глядя в прихожую из кухни на вошедших, разговора не понимала, а думала только, как бы муж не сказал что-нибудь не то... Между тем, промедлила она, Президент посмотрел в пролет двери и чуть поклонился ей... За ним и Супруга ей чуть кивнула... Оба они это сделали с пониманием времени, места и быта... Ольга Васильевна наконец догадалась хоть спрятаться пока за печь... Но это ничего не изменяло... А в прихожей горел свет, голоса знакомые там слышались... Никуда не денешься... Она вздохнула... Хотелось спать так, будто она уже даже спала... Но медлительно, сама не замечая этого, стала надевать свой кухонный передник... Ну-у... Чем же кормить гостей?.. Что же, решила, сварю картошки...

ПРАВДА

РАССКАЗ

Ничего нет дороже.

И стой теперь посреди кухни — чуть не босой, в носках одних, в рубашке выпущенной, с взлохмаченными остатками седых волос, — постукивай узловатыми кулаками в голую грудь, тарачи, сколько сможешь, заплывшие глаза и, рыча, вытаскивай со дна большой души мучительно-искренние слова — и чтоб виноватее себе самому казаться, и чтоб поискать в себе же самом надежду на прощение.

Запил Тимофей Иванович — такое дело, — когда Галина Ивановна уехала.

А Саша, племянник, будет слушать по-настоящему серьезно — не смотря, что длинноволосый да в джинсах. Уставился он на дядьку, едва сел на кухне за стол, и как-то пугающе решительно, набравшись, видно смелости,

вопросил: “Дядя Тима, ты скажи мне правду!” — это он о войне. Но что ему, если на то пошло, до той войны? Ему какие-то свои концы с концами надо свести. Знать, она, правда, уж понадобилась ему там, в его городах, институтах.

Парень он — ничего; родне об этом лучше других известно. Пришел Саша утром, узнав, наверно, от родителей, что дядька в загуле: давай, дескать, вылеживайся. Принес с собой “чекушку”, поставил в спальне на подоконник, стопку тоже. Не снимая куртки, скинув только мохнатую шапку, взялся пожарить картошки — свой, приученный; между делом все заглядывал в спальню. Как только под дядей Тимоей, лежащим в одежде и укутанным одеялами, железная кровать старая затрясется, зазвенит — сейчас он ему стопку; и кровать сразу успокоится. Так проканителиться полдня, до потемок, уж свет пришлось включить. И тут дядька племянника напугал: смотрит из-под одеяла вроде бы на него и в то же время не на него, а куда-то, глаза сведя к носу, в пространство между ними, и шепчет: “Вот он...” Саша побледнел: “Кто?..” — “Да комар... Откуда и взялся?.. Ничего на свете не боюсь, только комаров да Галинку!” Саша слотнул и дух перевел. И после этого дядьке легко удалось спровадить его, покуда не поздно, до магазина. А перребрались на кухню, и племянник на свои врачевания рукой махнул. Зато, когда по стопке вышли (Тимофей Иванович — стоя), захотел он, живущий своей молодой непонятной жизнью, разговора о правде — на то, конечно, его вольная воля.

Хорошо в компании перед таким внимательным слушателем грудь костяшками чесать, спички, прикуривая, ломать и хрипеть, хрипеть свое... Ну как же! Галина перед отъездом весь дом вымыла, дров даже к печке наносила на следующую затопку, курам ведро корму навела, наготовила в кастрюлях, в чугунах всего, пирогов, главное, напекла, ну и, понятно, наказала — чтоб ни грамма...

О чем, однако, племянник-то спрашивает: за что попал в штрафники... А сам сидит нога на ногу. Пришлось его сперва вразумить налить еще по стопке. Вышел опять стоя. Потом, чуть согревшись, хмурясь, начал припоминать через пень-колоду, больше из уважения, в благодарность за похмелку, и прыгающими губами выкрикивать косноязычно: как в начале войны был летчиком, как узнал из письма от матери, что она больна, что лежит там, на родине, в районной больнице, как поднял свой боевой самолет и улетел туда — на крыльях-то было рукой подать, приземлился на знакомом аэродроме, сходил в больницу и повидался с матерью последний раз, и как там же был, вздумавший пофорсить в летной форме по улице городка, задержан патрулем, как попал в пехоту, в разведку, на фронт к Рокоссовскому...

Тут племянник уж без подсказки догадался, плеснул; сам же пить не стал, закурил опять свою противную сигарету, с фильтром, — воняет, как горелой ватой. И вновь за свое: что, мол, и как дальше?.. Тимофей Иванович за это время ожил, огляделся, закрикал, вспоминая, где тапки умудрился потерять, — и вот забегал, горячась, по кухне... Вбалмошно рассказал первое, что вспомнилось. Послали, дескать, их на другую сторону одной реки, на берег, который “не наш”; что же, переправились на плотках, двинулись, по приказу, вглубь, шли-шли по лесу — никого; только навстречу им самолеты над самыми головами пролетели и сзади поднялся шум; разведали, вернулись на свой-то берег — все разбомблено: “ноги людей и кишки лошадей...” Племянник помолчал — проняло, видно. Спросил, глядя с гордостью, про Рокоссовского, мол, видел ли его.

— Да проезжало раз в открытой машине какое-то начальство. Пес его знает, может, там был и Рокоссовский...

Саша с почтением командует, закусывать велит. Но ничего не лезет в глотку. А пироги и вовсе пропали, засохли — и с капустой, и с рисом... Галина укатила на целую неделю. В гости к сыну. Там внуку третий год будет, день рождения. Давно они не бывали, с лета. Вот бабка и не вытерпела. Ехать ей далеко, в другую даже область: на автобусах с тремя пересадками — в прошлом году испытано. Когда уезжала, уже одетая, с сумкой в руке, от дверей пристально глянула на него — будто знала, что сорвется. И он,

когда в глаза ей ответно смотрел, тоже словно бы знал... В тот же вечер прямым ходом направился к соседке червонец занимать. А со следующего дня, само собой, компании пошли: то один зайдет, то другой, и все свое тащат — лишь бы в тепло. Неделя мигом пролетела. Не помнит, как и курам выносил, — ведро-то пустое. На улицу ни разу носа не казал, видел только в окно рассеянно, что снег валом валит. И вот завтра Галина возвращается! Господи, хоть бы утром сил набраться и воды натаскать, побриться...

Тимофей Иванович тянется через стол к племяннику, трясет седыми клоками, хрипит:

— Мне Рокоссовский лично руку жал! Вот эту самую руку!

Саша смеется, тоже повеселел, ногой все качает и даже стал напевать: “Налей, дружо-ок, по чарочке, по нашей фонто-вой!...” Но, пожалуй, надо сесть на стул, а то расшибешься об печку. А на столе-то какой бардак! Ну, Галина приедет — засучит рукава; в первый раз, что ли... Боже ты мой, какая она была из себя молодая! Кажется, всю жизнь, с пеленок, на нее глядел; не помнит себя, чтобы она не была на глазах. Из одной деревни и в одном классе учились. И ничего особенного между ними до поры не было. Вдруг в одно лето взял он моду солнечными вечерами осколком зеркала “зайчиков” пускать в окна ее дома. И хозяйка-мать не ругалась. После семилетки подался в райцентр — в аэроклуб, конечно! Она же осталась десятилетку, учрежденную в новинку, оканчивать. И — война. Переписывались по дружески и редко — по году не было от него вестей. Однако вернулся. Вернулся — а двое братьев старших погибли, а мать так в больнице и умерла, неизвестно где похоронена, а отец умер еще до войны, а дома своего, по бедности, вовсе не было: мать работала техничкой в школе, так и комната выделялась ей там. Вот и пошел он, с чемоданчиком, к тому дому, в окно которого пускал когда-то “зайчиков”. Постучал. Открыла мать Галины. Самой ее не было. Она как в войну окончила курсы немецкого языка, так до сих пор, оказалось, работала учительницей в местной школе. Он и говорит хозяйке: “Пустите меня хоть переночевать...” С этого все и закрутилось. Расписываться ходили в город за тридцать километров, пешком; на свадьбе хотелось выглядеть понарядней — по деревне бегал, галстук у кого-нибудь искал... Дом срубил новый; дочка родилась, потом — сын...

Тимофей Иванович дрожащими руками пытается прикурить давно выкуренную папиросу, швыряет ее в сердцах на пол, тыльными сторонами ладоней размазывает по щекам слезы и шепчет сорванным осевшим голосом:

— Да меня Рокоссовский в уста целовал!..

Потом — чувствует — уже лежит на постели, опять под одеялами. На кухне горит свет; Саша разве там? Он, что ли, нес его до кровати? Да — соображает — ведь он говорил, что будет караулить до утра; потом уйдет, надо ему ехать; а ты, сказал, как проснешься, чайник ставь — и выгульвайся...

Но из “штопора” Тимофей Иванович к приезду Галины Ивановны так и не выйдет. Она, еще подходя к дому, почует неладное; дорожка не разгребена, и до крыльца по снегу ведут глубокие и утопанные ямы-следы: те, кто ходил туда-сюда, прилежно в них ступали. Дом окажется незапертым. Ее, открывшую дверь из коридора в прихожую, обдаст духом нежилым: холодом прокуренных нетопленных комнат. Кинется она, роняя сумку, в переднюю и увидит в полумраке, так как окна занавешены, мужа, скорнувшегося под шубой на диване, мучительно спящего. Обреченно возвратится она в прихожую, снимет пальто. И на кухне обнаружит спящего за столом человека в фуфайке, шофера одного, известного пьянчужку, а под столом, у ног его, — рыжую собаку, которая, положив морду на непечатый пирог, с удивлением поведет на нее темными пуговками бровей.